



НИНА БОДРОВА



НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ

Предки мои со стороны обоих родителей жили в двух столичных русских городах — Москве и Питере. Во всяком случае, память об этом сохранилась. Сама же я — вологодская. Это так получилось.

Отец с матерью встретились и поженились, учась на режиссёрском в ГИТИСе, — сразу после окончания войны. Жить вместе им было особенно негде (московские коммуналки), и они поместились на старой полуразрушенной даче родственников отца — в Бутове (веха, ещё не замеченная судьбой). Жить там можно было до первых зимних заморозков, а потом меня отдали бабушке, в Вологду, где я и прожила первые четыре года своей жизни, а позже никогда не бывала.

Оттого отделённые другой, более поздней реальностью воспоминания об этом городе не пропали в детской памяти, не смешались с последующими наслоениями событий и дали первую окраску детству — белую.

Всегда зима. Софийский собор, виденный только снаружи, но зримо возглавляющий город. Белый вологодский кремль. Белые, запорошённые снегом улицы... Однажды, стоя у ворот нашего двора и ожидая, как мы пойдём смотреть с Высокой горки на ледоход, я упала в зимнем пальтишке в бурный весенний ручей. Меня спас и принёс домой добрый милиционер.

«Как ты была маленькая»... «Как мама была маленькая»... «Или папа...»... Истории эти, рассказанные, конечно, и позже, заполняют пустоты памяти в моём детстве, и они тоже в основном белого цвета.

Как бабушку вытащили в Вологде крюком, приняв за мёртвую, из поезда, набитого людьми, которых вывозили из блокадного Ленинграда через ладожскую «дорогу жизни». Как мой будущий дед — мамин будущий отчим — приехал на извозчике (в провинциальных городах тогда ещё было такое) и забрал с вологодского вокзала остатки нашей питерской семьи. Угостил всех крепким чаем — есть блокадникам было тогда ничего нельзя. Остальные были покрепче. И все тогда выжили.

Как мама с шести лет, оставшись без родителей, ездила в Архангельск со своей бабушкой. Оттуда в трюме грузовой баржи они переплывались на Соловки, навещали её отца, заключённого там. Солнце доходило в море до края горизонта и опять взбиралось наверх. Лето. Белые полярные ночи.

Как мой отец бегал мальчишкой вдоль деревянных щитов, поставленных вокруг храма Христа Спасителя, заглядывая в щели. Храм стоял уже основательно ободранный: цветной и белый мрамор шёл на подземные «храмы» — центральные станции московского метрополитена. «Уральские горняки добывают для Москвы...».

Это как бы повторял через много-много лет один из моих драгоценнейших друзей, ныне покойный. Подростком он забирался на крепкие заборы московских «почтовых ящиков» и фотографировал их кирпичные «первородные» здания — остовы церквей. Ещё через годы труды его легли в основу многотомного словаря о московских храмах. И добрая часть их благодаря этому восстановлена — опять стоят, звонят и славословят Господа.

Как утонул мой дед, недавний соловецкий заключённый, а потом ссыльный, — отступая с траловым флотом, главным инженером которого его сделали в начале войны, по Северному морскому пути. Флот разбомбили немецкие самолёты. В каком из арктическом морей и заливов — не знаю.

Как зимой на Ленинградском фронте разворотило осколками мины моего отца — солдатика, вчерашнего школьника. Потом сшивали по кускам, потом всю жизнь вынимали осколки. Но свои восемьдесят лет он прожил, с Божией помощью.

Первое, что стало для меня действительно разноцветным, — азбучные буквы на кубиках. Каждая буква имела свой индивидуальный цвет. Мне было странно, что взрослые этого не видели. Как не вижу и я сейчас.

Позже белое перешло в серое, порой чёрное. Маму послали после окончания института в Тулу. Совсем близко от Москвы. Но другая жизнь. Другие обычаи. Другой диалект.

Среди частных деревянных домиков, припорошённых снегом и металлической пылью с оружейных заводов, построенных императором Петром, притаился старый кремль. Стены его были почти вровень с землёй, внутри плотно запертые кирпичные корпуса зданий. Перелезть на эту территорию тогда и ребёнку не составляло труда. Этот кремль снится мне и теперь, но здания эти опять превратились во сне в церкви, отремонтированные, почти целиком из нового кирпича, хотя и не действующие.

Главным чудом стала тогда Ясная Поляна, бывшая усадьба Льва Николаевича Толстого. Бабушка снимала каждым летом для нас комнату в яснополянской деревне. Для неё было особой радостью дружить с сотрудниками яснополянского музея (среди которых был и внучатый племянник Афа-

насия Фета — Н. Пузин), брать книжки и машинописные дневники Льва Николаевича и Софьи Андреевны из запасников, гулять по аллеям... Когда-то, до революции, она посещала московские курсы Густава Шпета, позже окончила Московский университет, тюрьма и ссылка в Архангельске и Пинеге в двадцатые годы изменила течение её жизни, но она всегда говорила, что таких замечательных людей, какие встретились ей тогда, больше ей не доводилось увидеть. Думаю, усадьба и её сотрудники стали ей какой-то заменой.

Кроме разговоров взрослых о Толстом мне достался весь этот огромный по весомости мир, окружавший когда-то его семью. Я бегала с деревенскими детьми, снимала вместе с ними ряску с трёх яснополянских прудов (ею кормили коров), пасла коз с детдомовцами. Там было два детских дома. Я не понимала тогда почему. Ведь война давно кончилась...

Этот мир барской усадьбы летом. Берёзовые рощи с «зелёной палочкой» и берёзовая «любимая скамейка». Удивительный свет на круглых косогорах. Цветущие всеми цветами средней полосы луга за рекой Воронкой. Одичавший водосбор-акелай в аллеях у музея. Особая радость дореволюционной крестьянской и помещичьей жизни. Это не было когда-то. Это было рядом.

Цвет проявлялся не только в растениях. Не только в оживающем мире толстовского имения. В именах чудилась своя окраска. Именах, шедших от святых. Дыхание справедливости, сердобольности, благородства. Крылья Оптиной и Шамордина.

Тут был и первый мой духовный опыт. Я говорила с яснополянской девочкой, моей ровесницей и она заговорила о Боге. «Если бы Он был, что бы Ему стоило явиться, показаться нам?» — попыталась я её убедить. «Нина, чтобы я этого не слышала. Не говори, чего не знаешь», — отозвалась с веранды бабушка. Ко мне мои родные относились с детства внимательно, даже с уважением, но ничего не объясняли, опасаясь за меня. Я была поражена этим упрёком, помню его до сей поры.

Спустя годы (мне было 16) я гостила у второй своей бабушки — московской, и мы ужинали на кухне, когда она вынесла мне обтрёпанную по углам фотографию наследника Алексея — головка, обрамлённая локонами, белый головной убор. Такие фото продавались, наверное, когда-то до революции в киосках по праздникам. Невиданная доселе красота невинного лица — лика. В следующий мой приезд, когда я попросила мне опять это показать. «Потерялась», — сказала она.

Нас берегли — и оттого следы былого, священного, красоты, родства, проявляющихся постепенно в жизни, проскальзывающих мимоletно, застревали в сознании навсегда. Намечали путь. Приносили радость открытия.

Помню, как на Пасху нас, школьников-подростков, привели и поставили у ворот единственной тогда действующей в Туле кладбищенской церкви. Задание было нам, пионерам, забирать у старушек, идущих на богослужение, их маленьких внуков. «Не беспокойтесь, мы постоим с ними пока на улице...» Из дверей храма доносились обрывки службы. У кладбищенской ограды старик-инвалид продавал птиц — можно было выпускать их на волю в праздник. Их подбрасывали в воздух, и они исчезали на лету... Конечно, большинство из нас не выполняло своего задания. Я стояла, охваченная каким-то особым волнением и одновременно чувством собственного несовершенства и тоски.

Да всё становилось яснее, понятнее, ближе. После школы я поступила в Литинститут — дом Герцена на Тверском бульваре. Нам сказали тогда: «Радуйтесь, вы лицеисты». Нас было тогда всего три курса — первый, второй и пятый. Очное отделение было два года закрыто. Всего чуть больше ста человек. Институт наш все ругают. Как саму идею. Но ведь писать стихи и рассказы нас не учили. Пытались преподавать идеологию времени. Она была несъедобна. Зато была свобода общения равноправных (и талантливые и бездарные студенты были заражены той же страстью). На старшем курсе появлялся время от времени Николай Рубцов — шли последние месяцы его жизни. Мы, конечно, не подозревали этого, слушали заворожённо его стихи.

Поражала в те времена институтская библиотека — книги давно запрещённые, забытые, изъятые. Так и говорилось шёпотом: изъяты у репрессированных писателей...

Говорилось, что ещё не так давно стучал во дворике института дворнической деревянной лопатой Андрей Платонов, убирая снег. В зале ЦДЛ выходил на сцену Арсений Тарковский, читал, слегка запинаясь, тихим голосом свои стихи, корпус которых чудом спасся под игом переводческого труда.

Ужасала судьба пленных, невинно осуждённых. Ужасал путь изгнанников, эмигрантов, потерявших «ту» Россию. Но ведь в одночасье её потеряли и мы. Ужасал путь предательства, путь доносов. А вот молчания — нет, утраты — нет. Судьба заглохшего голоса, чудом сохранившегося знака от исчезнувшей судьбы. Это казалось нормой, даже красотой.

Десятилетиями позже, уже в Париже и Германии (во времена, когда отчасти расшифровывалась правда событий, произошедших в двадцатом веке на русской земле, а подмосковный посёлок Бутово был назван «Русской Голгофой» и к нему понесли резные кресты от северных границ, от Соловков, сделанные руками прекрасного мастера), я представляла себе, как мирно и счастливо проводили свои дни мои юные родители в ожидании своего первенца, как страшно было то, что они и их близ-

кие оставили за плечами в прошлом и как страшно, но ещё неразгаданно было то, что происходило может быть, за соседними плотными заборами и сколько ангельских душ отпускалось палачами в небесный путь в этот час через эти предместья.

Границы разрушения казались невообразимыми. Где-то совсем далеко истлевали, гнили страшные бараки бесчисленных енисейских лагерей. Покрывались свежей травой, наполнялись щебетом пернатых. Земля, на которой я жила, проступала постепенно, как намокшая переводная картинка, раскрашивалась, как изначально белая контурная карта с уроков географии и истории... Вот я с мужем и маленьким сыном живу в полиграфическом посёлке города Чехова, где глина во время дождя покрывает жидким месивом все прохожие пути и проезжие дороги. А рядом — оказывается вдруг — находятся Полотняный завод семейства Гончаровых, чеховское Мелихово, Лопасненский парк архитектора Еропкина — один из первых ландшафтных парков России.

За бедностью и убожеством существования изначально стояло чудо Преображения. Поначалу за него принималось искусство. Оно казалось настоящей целью. В мои студенческие годы на столах в аудиториях Литинститута лежали только что вышедшие журналы с поздними произведениями Валентина Катаева, со впервые изданными «Мастером и Маргаритой». Даже в паре истинных слов — среди мишуры — открывалось сокровенное. Даже в открыто атеистических книгах проступало учение. Пара библейских цитат становилась богатством.

Помню, как в Туле меня отводили в младших классах в балетный кружок Дома офицеров (здание бывшего дворянского собрания, как позже выяснилось). Когда некому было забрать меня сразу по окончании занятий домой, мне разрешалось спускаться в подвал — царство стариков Барвинских, мужа и жены, зрителей несуществующего тогда музея. В этот подвал на протяжении первых десятилетий советского бытия свозились не востребованные большевистской номенклатурой сокровища дворянских усадеб из окружающих Тулу уездов — Ефремовского, Богородицкого, Епифанского, Венёвского, Белёвского. Там находились запylённые фарфоровые фигурки мейсенских мануфактур, посуда заводов Попова и Гарднера, стояли прислонённые к стенам бесконечные полотна Бассано, с перечислением всего месяцеслова. Там я наткнулась на четыре картины, незнакомого мне тогда художника Стеллецкого, изображающие четыре времени суток. Манера письма не столь отдалённая. «Мир искусства», как я теперь понимаю. Паяц на фоне одноэтажного города — такого как мой тогдашний. Тула. Озарённого другим светом, другой эпохой — со внезапно проявленной красотой.

Много позднее, в Париже, я решила обзавестись — во второй раз — «Историей России» Сергея Соловьёва. Пришла по объявлению, данному в «Русской мысли», в небогатую большую квартиру в центре Парижа. Как оказалось, принадлежала она вдове главы и основателя «Русских витязей» Фёдорова. Русской бельгийского происхождения. Старой женщине, которую сразу хотелось взять в подруги. По комнатам и коридорам были развешаны портреты царей и императоров, а над письменным столом покойного висела первая не вполне каноническая икона тогда ещё непрославленных новомучеников российских. Написана она была художником-эмигрантом Стеллецким...

А я и имя-отчество этой женщины сегодня забыла. Помню только родное лицо и как, уходя, к купленным серым томам впридачу я получила большую старую гравюру — портрет Александра Второго в парадном мундире. В тяжёлой раме и под стеклом.

Это было как бы её благословление. Конечно, с этим императором всё было просто. Единственно одобренный, не осуждаемый и не подвергаемый насмешкам красной идеологии, воспитанный своим отцом с помощью специально подобранных наставников во главе с Василием Жуковским — на благо будущей России. Со сложными реформами. Преследуемый первыми терактами и неумолимой смертью. С такой же печальной судьбой, воздвигнутой в память о нём церкви «на крови».

Но и здесь история решает по-своему и идёт непредсказуемой дорогой, осуждая однозначно любимых и оправдывая, казалось навсегда осуждённых...

Вскоре я начала работать в Мюнхене в маленьком издательстве (и «Книге — почтой») «А. Нейманис», преобразованном из послевоенного издательства «ЦОПЕ», выпускавшего в своё время альманахи «Мосты», избранное В.В. Розанова, многотомные издания сочинений Николая Гумилёва, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и Николая Клюева, знакомые в те годы в России в основном по машинописным перепечаткам.

Мы раздавали эти книги (как и многие другие) немногочисленным тогда приезжим из России. Русские книги в этот центр собирались из многих эмигрантских издательств, со всех стран и континентов. Тематика их была всеобъемлющая — не только политика: репринты дореволюционных русских духовных книг, изготовленных в Америке, в монастыре Джорданвилля, старые переиздания со склада давно закрытого немецкого издательства «Финк», новые богатства духовной мысли, накопленные в эмиграции (ИМКА-пресс) и многое другое...

Мы — это была отчасти моя обязанность — занимались описанием вновь пришедшей литературы, составляли аннотации, помещали их во вновь издаваемый обширный каталог.

Впервые тогда я чувствовала, что делаю что-то важное, полезное для России и интересное для меня. Никогда я этого не ощущала, проходя после института практику в «Литгазете» или работая в отделе писем журнала «Юность» незадолго до рождения сына. В те годы в «Нейманисе» выпускались последние тома собрания сочинений Евгения Замятина под редакцией Филиппова, а мне на первых порах доверили редактировать книгу болгарского эмигранта Всеволода Николаева «Александр Второй — человек на престоле». Это оказалось как бы напутственным жестом вдовы Фёдорова. Книга была незамысловатой, бытоописательной, но исторически, по крайней мере, без негативов. Её с удовольствием брали приезжавшие русские. Такого там в те времена не выпускалось...

Уже много лет я не живу в центре моего мироздания — России, езжу по соседствующей с ней европейской окраине и продолжаю наткаться на её следы — судьбы многих поколений русских людей. Отделённой от неё я себя не чувствую. Всё любимое в ней окружает меня, как и прежде. Зато всё плохое переместилось вдаль, перешло в миф, отчасти забыто.

Я понимаю, что это иллюзия, что живётся на моей Родине по-прежнему непросто, зачастую тяжело. Что она нагружена старыми тенями и проблемами. Но ведь и здесь, где сейчас реально обитаю я, те же заботы и те же тени.

По прошествии времени накапливается у каждого свой жизненный опыт, и зачастую за событиями обыденными, почти невразумительными проступает с особой очевидностью Божий Промысел. Как будто Кто-то держит в руках нити твоей судьбы и приводит их в движение, подёргивая валдайские колокольчики, а они вызванивают — то вместе, то поодиночке, создавая мелодию или звуковой мираж.

Последние годы кажется — мир изменяется особенно стремительно. Времени для оптимизма едва ли много отпущено. Уже обрисовывается не только гибельная судьба России XXI века — весь земной шар попадает в неумолимую переделку.

То, что останется от нашего времени, не найдётся когда-либо в «культурном слое» среди песка и камней. Разве что полиэтиленовые пакеты. Разве что массовые захоронения вблизи зон вечной мерзлоты. Но каждый из нас — связной, который обязан что-то пронести и донести дальше — письмо, знак, жест. Объяснить последующим за нами людям, какая была когда-то наша земля — Россия. И в какой точке мы ещё можем приблизиться к ней.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ (Мюнхен)

Монастырь Шефтларн

- Вот если бы с детства молиться...
- То в юности бы суждено
Влюбиться и пожениться.
- И всё бы нам было одно.

(5 пасторалей)

I

С песчинками Африки ветер,
в бутылочных донцах окно.
Всего за пределами свет
альпийское веретено.
Сучёною ниткой сплетает
в полях
запоздалый покос
молёную ниточку Рая
с пригоршнею горестных слёз.
Воды перепад у порогов,
журчанье кафизмы шестой —
церковнославянского слога
торжественный лад и простой —
звучит как приказ к отдалению,
как присказка
и как пароль:
равняться на камни, растенья,
утишить сердечную боль.
И зная, что лаз этот узок,
и радостна смерть и легка —
как катеты к гипотенузе,
потянемся за облака;
склонимся пред той Благодатью,
что выше Закона и зла.
Тебе рясофорное платье
судьба неспроста подала.

II

Отмерзает за клапаном драма.
 Прикручен фитилёк.
 За морями,
 за Святыми Дарами
 и прибитыми наспех делами
 на дверной косячок.
 Вот подполз
 полосой междометий
 дождь косою, дождь косою.
 Впереди у прошедших столетий
 путь означился твой.
 Чем измерить нам расстоянье
 меж судьбой и судьбой —
 перед ликами предстоянье
 приходящей зимой.
 Отмеряет душа свою данность,
 свою толику зла,
 всю безоблачность, безобманность
 по рукоятку без сна.
 Отпусти утром ранним
 птицу пегую вдаль —
 на лету твой гордец,
 твой изгнанник
 отчитает тропарь.

III

Заставить других удивиться —
 что радости в том?
 Душа всё равно раздвоится
 под острым ножом.
 Она и потом не растает,
 не выстоит, не оживёт,
 как рыбка в воде не взиграет,
 как жаворонок не запоёт.
 За рощею пожелтелой
 к озимым жнивьям.
 За этим неверным уделом
 спасенье твоё и моё.
 В золы заползя сердцевину,
 находит запечный сверчок
 огня золотую стремнину,
 и сам — уголёк.

IV

бой часов заводных
 деревянное било
 телефон
 колокольный язык
 облака
 вот на ветер опять опустила
 тень привета рука
 меж несмежных земель
 от войны бездорожье
 путь по небу высок
 Богородичный плат
 как Покров непреложный
 как прощальный платок

V

Земля наша нынешним летом
 тверда, как орешек, жарка.
 Спадут за полуденным светом
 с измученных глаз облака,
 спадёт пелена в одночасье,
 расступится волглая мгла
 разрубленного на две части
 гордиева узла.
 Увидишь за пойменным лугом
 знакомый абрис корабля,
 угодя, где Божии слуги,
 святые Европы поля,
 розарии здешней работы,
 плетенья чугунных гробниц,
 барочные пышные гроты
 среди парников и теплиц.
 Наплачешься и различаешь
 в режимной подсветке листов:
 нам Силы спасенья желают
 и Власти из верхних пластов.
 Архангелов и Херувимов
 собралась в округе семья —
 заполненные глубины,
 от туч золотые края.

Динамика ангельской кущи,
 приводы нетленных ремней —
 Хранители наши и души
 ещё не рождённых людей.
 Поддерживая надежду,
 они в поднебесном краю
 во веки веков,
 как и прежде,
 мелодию тянут свою.

Приглашение к прогулке

Расколотый мир между нами:
 как быть с дорогими стихами —
 душа не выносит уже
 рассеянной жизни и лета.
 Она смущена, перегрета,
 нагружена, отторжена.
 Чернилами и лебедою,
 полыньёю, тоскою одною,
 ковром из жуков и звезды
 набухшей персидской сирени,
 по праздности и по лени
 дотянемся до борозды.
 Пошлём по бездорожью,
 оно приведётся, возможно,
 наводкой кусту и коню,
 тревожному сердца движенью,
 спряжению притяженья
 к воронам присесть на межу.
 И благостным бледно-зелёным
 вся пойма заполнится звоном,
 сухой стрекотнёй стрекозы.
 Разбуженный колокольчик,
 тот мальчик,
 без страха и сбоя
 зальётся, задребезжит.
 И смутное лихолетье —
 прошедший наш век
 прежде века —
 вернётся прозреньем и сном,
 запутанной ворожбою,
 враждою своей ледяною,
 резнею своей кружевною,
 твоей головою седой.

Фён

И захочешь в альпийском подзоре
 отбелённых простынь
 задержаться внимательным взором —
 красота простоты —
 но вершины
 в неверной раскладке
 то вдали, то уйдут.
 Жизнью трудной и ночью несладкой
 в ожиданье промаешься тут,
 и на вынужденных постоях
 зевотой, забытьём,
 неолитовым слоем
 промолчишь о своём.
 Эдельвейса засушенной спорой,
 золотым паучком
 проскользнёшь по подветренным створам,
 чтобы сгинуть потом.

Барград

«Волною морскою...»
Пасхальный канон
 «Там, где и у русских могила...»
 Ю. К.

I

Корсарского каблука
 скалистое очертанье,
 к нему донесут облака
 Калабрии мимо, Катании —
 двух ангелов с бурым столпом,
 запалы небесного света
 и Нового Слова Заветы
 да раку на барке простой.
 Никола развяжет дары —
 сподобится нищая местность —
 посыплется манной небесной
 развалины и пустыри.
 И чашей причастной к устам,
 наполненной миром нетленным
 и ветрами пропаленный,
 Угодник останется там.

II

Вот оно прорывается — пламя
 на земноводных путях,
 Он приплывает
 и останется с нами,
 в мирозданье и в нас.
 Хоть, заводя бесконечные споры,
 миро черпая ковшом,
 на Средиземноморья святые просторы
 стянется западный шторм.
 Боже, снеси эту ветхую барку,
 дар византийских царей,
 под светоносную радуги арку.
 Дай задержаться под ней.

III

Пропылено, рвёт известняк
 волну из холста водяного,
 она повторяет, звеня,
 Нагорного слова основы —
 и Твой аметистовый цвет
 мерцает на складках пространства,
 в котором мощей перелёт
 в движении и постоянстве —
 на барке, галере, плоте,
 в немецком автобусе углом,
 пешком,
 под плитой,
 на щите —
 мы ждём Тебя
 каждое утро
 и, переставая дышать,
 Тебе доверяем значенье
 сосуда с названьем Душа
 где в смерти Преображенье.

Крестины

Валентину

Изначально и от рожденья
 Сердце жжёт тоска и смятенье,
 Жажда праздности, трепет бед.

Изначально приходит Слово —
 От сиянья Духа Святого
 Через тьму набирает разбег.
 Все события смутного края,
 Всё, что рок, крестя, налагает,
 Трёх различных ритмов расклад:
 Это всё — лишь твоё призванье,
 Скорбь греха и свет состраданья —
 Нить, которой не оборвать.

Квартира

А наяву происходила жизнь —
 Из каждой вымороченной протоки
 Вставал развал, и пахло одиноким
 Забытым светом среди пыльных призм.
 В него взглядеться не давал разор
 Газетных букв на даровой бумаге,
 Ряды прогнозов, переплётов фразы,
 Всех снов прошедших соляной раствор.
 У лукоморья вырастал урон
 В простую мелочь, в рассеченье быта,
 Ничем другим была не знаменита
 В венке из лавров, в венчике из роз.
 Там кот бродил, там пронесла метель
 Цепь нежных слов на палевом окошке,
 Там средь стволов в проафриканской роще
 Запел гусляр, не застелив постель.

Подражание Тютчеву

Как европейский мир скользит,
 Как айсберг по летейским водам,
 Как сердце, ветхое на сводах,
 Унять отчаянье велит.
 Горит агата лампийон,
 И кварцевое прозябанье
 Узнает новое преданье
 И логику иных времён.

Но лёгонькую жизнь свою
 Листу и птичке Божьей жалко —
 За этим солнца свет в прогалах
 И сон у леса на краю.
 Вставай, распутай узелок
 Мерцающей ранимой плазмы,
 В тоске последней, непролазной
 Ты плана Отчего урок,
 Его венец как будто ты.
 Дойди хоть раз ещё до края
 Обрыва — вглубь вода святая
 И тень Распятья с высоты.

Элегия о граде Китеже

*Моему дедушке ,
 соловецкому узнику, строителю
 Беломоро-Балтийского канала*

Шлюз, замыкающий добро.
 Стекло речное серебро
 Сквозь тёс дубовый,
 Створ небесный,
 Сквозь меловые этажи,
 Где смертоносные стрижи
 Живут убого, строго, тесно.
 Спадает лунный пересвет,
 Которому и смысла нет,
 К полуночи, и гаснут лики:
 Священник, прапорщик, портной,
 Подрядчик, врач, городской —
 Асбест, извёстка, сердолики.
 Их жизнь, как плавкая руда,
 Давно перетекла туда
 Вслед за водой и полнолунием,
 Куда тебе уж не свернуть,
 И где их крестный пот и путь
 Отчизну лечит от безумья.
 И впрямь водой спасался град,
 Но не огонь его погубит:
 Он просто отошёл назад.
 В прошедшее.
 Его не будет.

Ищи блаженную страну
 За шлюза ковкими щитами,
 За рая тесными вратами,
 Броди по высохшему дну.

Вологда

В тишине отраженьем кремля
 Речка быстрая хороводит,
 По булыжным тропам гремя,
 Старый конь керосин развозит.
 Темнота схоронилась в кусты,
 Но прабабка, совсем слепая,
 Заблудилась среди простынь,
 Что на дворике просыхают.
 Ближе к ночи вовсе светло —
 Это север и лето на взводе,
 Сквозь невымытое стекло
 Вижу зелень на огороде.
 За оградой блестит вода
 И гуляют большие птицы,
 Но меня не пускают туда —
 Из следов их воды напиться.
 Это сны, это детство и мир
 Между войнами и речами,
 Это вечности нежный миг
 Позади, за моими плечами.
 Я одна среди луп и часов
 В доме, запертом на засов.

Как комья скатанного снега
 С политой ледяной горы,
 Ища покоя — не разбега —
 Из рук визжащей детворы,
 Слетают дни, недели, годы,
 И вот приходит этот день
 Средь новостроек, злой погоды
 И опустелых деревень:
 Он возвращается в Россию —
 Ко всем подворьям льнёт зима,
 Мильонами казанских сирот
 Дрожат панельные дома,

Молящимся хватает храмов,
 Убитым — взорванных церквей...
 Сейчас придёт другая драма —
 Спаси здесь всё и пожалей.

Есть круг среди верных кругов,
 Есть ветер средь ветров —
 Чистейший Покров
 Приносит как будто навечно.
 Под корочкой мокрого дня
 Блеснёт голубым опереньем
 Родная земля,
 Её многозимье.

Не слишком ли много порядка
 У этих ганзейских управ:
 Где жизнь моя ясна и гладка,
 Полна разрешённых забав,
 Где снег исчезает как пена,
 Не чая ночной мерзлоты,
 И нерунгов чёткие смены
 Пейзажа скрепляют черты,
 Где маешься с лёгкой бравадой,
 Где веруешь — без торжества...
 Два вдоха — и что ещё надо:
 Ты — дерево, камень, трава.

Сказка

— Мне света мало, мне дыханья мало.
 — Я знаю, но с вокзала до вокзала
 С тобой пошла по этому пути
 Не для того, чтоб спрятать и спасти,
 А чтобы ведал тем, чего не стало .

И вот, когда на дачные просторы,
 Прибитые бедою коридоры,
 Игольник, вихрем сброшенный к меже,
 Шлагбаум, пристанционную мороку

Приходит день без суеты и сроков —
 Ты здесь, малыш, ты здесь со мной уже.
 На просеках, в кварталах невесомых,
 Где Мамонтова пышные хоромы
 Унижены бесхитростной роднёй,
 Где витражи над кухнями колдуют,
 А керосинки стёкла полируют,
 И стиль модерн становится бронёй,
 Где тать давно не ведаёт запрета,
 Здесь, в тишине, под кровом обогретым,
 Так сладко нам угадывать своё.
 Рядится всё и всё играет в прятки:
 Пустой оклад, амбар церковной кладки,
 Ушедших жизнь с отрывом в житие.
 Запомни это время испитое,
 Тот вертоград, сплетённый с сухостоем,
 Те плевелы, сроднённые с зерном,
 Ильинский пруд, салазки из Давоса,
 Их ржавый след в сугробах и торосах —
 Голландца лёт по призрачным откосам —
 В заросший сад и опустелый дом.
 Нагнись, испей — потом не доведётся —
 Из нашего открытого колодца,
 Где сладкая и тёмная вода,
 Благая весть опять над этим миром,
 Но счёт пошёл не по земным ранжирам,
 А по канонам Страшного суда.

Приплытие на остров Скерия

На подступах крепость и своды
 сиреневых валких холмов —
 проси у морской непогоды
 надёжней и крепче покров.
 Рассветные сумерки лепят
 алмазы из сонной воды.
 Споткнётся архейское лето
 у утренней первой звезды.
 Афиной и Артемидой
 стараясь заполнить урок,
 становится ревностным гидом
 полыни стодневный цветок.

Но нам в богородичной спевке,
в тени спиридоновых скал
как в новозаветных доспехах,
другое Платон обещал.
Тимьяном и розмарином
расписана на смоле
развёрнутая картина,
как жить нам на этой земле.
Где близится Царство Иное,
где Иов и Одиссей
слагают последние силы
в кромешной юдоли своей.
Страна метафизики спелой,
оливок, неволь маяты
приходится венчиком белым
на наши родные кресты.
В уже изнищённые нивы,
в распадок,
в разбитый киот.
Как жаворонок торопливый
простуженным соплом поёт,
и нам посулив отторжение
и снова дорогу назад...
Через вертоград на мученья
и заново сквозь вертоград...
...Когда исчезающей ночи
подпалятся снизу края
и, вытянув солнце за мочки,
взлетит золотая струя,
на Керкире высветлит церкви
и лёгкое днище воды,
вериги, застенки и цепи,
иконы, лампады, скиты,
пути от надежды до смерти,
до всей поднебесья гряды.
И выступят поодиночке
все ангелы как якоря.

Там рядом Россия моя
в своей неземной оболочке.

Лестница

Вот и мне неделя распалась,
разложилась на семь ступеней,
на все стороны белого света
спектром радуги, нотным пенъем.
Первый день я друзей встречала,
на второй приходилось Слово,
в третий путала всё, ломала –
превращала жито в полону,
на четвёртый зима началась –
на снегу перчатка валялась.
Ну, а в пятый пришли болезни,
день шестой — это сумрак слёзный,
в день седьмой с тобой повидалась —
через десять лет как рассталась.
Вот смотри: проходит неделя —
каждый день в ней неодинаков:
знает о каждом Господь,
но не знает Иаков, —
с кем он борется,
кому помогает,
кто побеждает.
По каким ступеням
скользит он стопами.
Сколько их над стремниной узкой.
Знает только небесный тёзка
тождество подъёмов и спусков,
череду смертей и рождений:
календарь небесных хожений.
Путь неблизкий, пролёт короткий,
час последний за год зачтётся —
отзовётся лишь сердце дробко,
лишь Ему оно отзовётся.